

ПИСЬМА И ЗАМЕТКИ Н. С. ТРУБЕЦКОГО



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Москва 2004

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 02-04-16097

П 35 Письма и заметки Н. С. Трубецкого / Вступит. ст. В. Н. Топорова; Подгот. к изд. Р. Якобсона при участии Х. Барана, О. Ронена, М. Тейлор; Пер. предисл. В. А. Плунгяна; Пер. примеч. В. А. Плунгяна и Д. А. Паперно под ред. В. А. Плунгяна; Пер. и ред. указателей Д. В. Сичинавы. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 608 с., ил., разд. паг. i—lxxvi; I—XVI; 1—504, вклейка после с. 218.

ISBN 5-94457-170-5

Письма Н. С. Трубецкого к Р. О. Якобсону с комментариями последнего — это один из важнейших памятников истории отечественной гуманитарной мысли. Переписка двух ученых охватывает период почти в два десятилетия, и именно на это время — 1920-е и 1930-е годы — приходится становление основных парадигм пражского структурализма. Письма Н. С. Трубецкого раскрывают работу той интеллектуальной мастерской, в которой рождались и вызревали идеи, сформировавшие главные направления историко-филологических и лингвистических исследований межвоенного периода и определившие существенные черты последующего развития. В переписке отразились различные этапы работы Трубецкого над его «Основами фонологии», статьями по морфонологии, трудами по славянскому языкознанию и русской литературе. Поразительное богатство мыслей, запечатлевшееся в этой переписке, включает и многие замыслы, к которым Трубецкой так и не успел обратиться. Вместе с тем переписка представляет собой важнейший документ эпохи, дающий возможность увидеть, в каком политическом и историческом контексте развивалась гуманитарная мысль русской эмиграции. Первое издание переписки было подготовлено самим Р. О. Якобсоном при содействии его учеников. Для российского читателя оно оставалось практически недоступным. Между тем книга представляет интерес для широкого круга читателей — филологов, историков, лингвистов и просто любителей отечественного прошлого.

ББК 81

ПИСЬМА И ЗАМЕТКИ Н. С. ТРУБЕЦКОГО

Издатель А. Кошелев

Корректор С. Козлова

Подписано в печать 02.12.2003. Формат 70x100 ¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
печать офсетная, гарнитура «Times». Усл. п. л. 49,02. Заказ № 9423

Издательство «Языки славянской культуры».

ЛР № 02745 от 04.10.2000. Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).

E-mail: Lrc-kozlov@mtu-net.ru, Lrc@comtv.ru

Каталог в ИНТЕРНЕТ <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-mik.narod.ru>

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука» 121099, Москва, Шубинский пер., 6

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G•E•C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavica@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

ISBN 5-94457-170-5



9 785944 571700 >

© Copyright 1975 in The Netherlands. Mouton & Co. N. V.
Publishers, The Hague

© В. А. Плунгян, Д. А. Паперно. Пер. на рус. яз., 2004

© В. Н. Топоров. Вступительная статья, 2004

© Д. В. Сичинава. Пер. и ред. указателей, 2004

ОГЛАВЛЕНИЕ

В. Н. Топоров. Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения) i—lxxvi

Предисловие (<i>Р. О. Яacobсон</i>)			I
Сокращения			XVI
I	12/XII	1920	1
II	1/II	1921	4
III	7/III	1921	12
IV	28/VII	1921	21
V	7/XI	1921	25
VI		(1922)	27
VII	12/VIII	1922	27
VIII	1/IX	1922	32
IX	20/XII	1922	36
X	27/XII	1922	40
XI	25/I	1923	41
XII		(1923)	46
XIII	30/III	1923	48
XIV	1/VI	1923	48
XV	21/VI	1923	50
XVI	18/VII	1923	51
XVII	27/XI	1923	57
XVIII	10/I	1924	60
XIX	18/VIII	1924	61
XX	11/X	1924	64
XXI	1/XI	1924	73
XXII	6/XI	1924	74
XXIII	15/I	1925	75
XXIV	10/III	1925	80
XXV	21/IV	1925	82
XXVI	18/II	1926	85
XXVII	19/IX	1926	89
XXVIII	4/X	1926	93

Приложение: Схема фонетических изменений праславянского языка эпохи			
дифтонгоборчества			94-95
XXIX	20/XI	1926	95
XXX	22/XII	1926	96
XXXI	12/I	1927	101
XXXII	23/I	1927	106
XXXIII	10/IV	1927	107
XXXIV	28/VII	1927	108
XXXV	22/X	1927	109
XXXVI	24/X	1927	110
Приложение: Система согласных фонем полабского языка 111			
XXXVII	1/XI	1927	111
XXXVIII		(1928)	113
XXXIX	5/IV	1928	114
XL		(1928)	115
XLI	19/IX	1928	116
XLII	11/XI	1928	118
XLIII	28/III	1929	119
XLIV	16/IV	1929	121
XLV		(1929)	127
XLVI	1/V	1929	128
XLVII	20/V	1929	132
XLVIII	24/VI	1929	132
XLIX	9/VII	1929	136
L	13/VII	1929	138
Приложение: Языки в СССР 138			
LI	18/VII	1929	141
LII	22/IX	1929	142
LIII	19/X	1929	143
LIV	(без даты)	143
LV	2/XI	1929	144
LVI	25/I	1930	149
LVII	25/II	1930	152
LVIII		(1930)	155
LIX	24/IV	1930	157
LX	27/V	1930	157
LXI	8/VI	1930	159
LXII		(1930)	160
LXIII	9/VII	1930	161
LXIV	31/VII	1930	161
LXV	17/VIII	1930	164
Приложение: Замечания к статье "Относительно евраз. язык. союза" . . . 169			

LXVI	8/IX	1930	171
LXVII	3/X	1930	172
LXVIII	12/X	1930	176
LXIX	14/X	1930	180
LXX	11/XI	1930	181
LXXI	20/XI	1930	184
LXXII	10/XII	1930	186
LXXIII	8/I	1931	187
LXXIV	28/I	1931	189
LXXV	1/II	1931	192
LXXVI	4/II	1931	193
LXXVII	21/II	1931	194
LXXVIII		(1931)	197
LXXIX	6/IV	1931	198
LXXX	14/IV	1931	200
LXXXI	7/V	1931	202
LXXXII	8/V	1931	202
LXXXIII	12/V	1931	204
LXXXIV	22/V	1931	205
LXXXV	29/V	1931	206
LXXXVI	8/VI	1931	207
LXXXVII	5/VII	1931	209
LXXXVIII	13/VII	1931	211
LXXXIX	29/VII	1931	213
XC	5/VIII	1931	213
XCI	11/VIII	1931	214
Приложение: 1) Фонологическое описание русского языка			214
2) Замечания к "Фонологии слова"			216
XCII	14/VIII	1931	220
XCIII		(1931)	221
Приложение: Копия ответного письма к В. Дорошевскому			227
XCIV		(1931)	230
XCV		(1931)	230
XCV (A)	15/II	1932	236
XCVI	28/IV	1932	240
XCVII	6/V	1932	240
XCVIII	17/V	1932	241
XCIX	25/V	1932	243
C	28/V	1932	243
CI	1/VI	1932	245
CII	4/VI	1932	245
CIII	16/VI	1932	246

CIV	25/VI	1932	246
CV	27/VII	1932	247
CVI	4/VIII	1932	248
CVII	12/VIII	1932	250
CVIII		(1932)	252
CIX	25/VIII	1932	252
CX	9/IX	1932	254

Приложение: Замечания к фонологическому описанию японского языка

Е. Д. Поливанова			255
CXI	29/X	1932	258
CXII	30/XI	1932	261
CXIII	3/II	1933	266
CXIV	21/III	1933	268
CXV	10/V	1933	268
CXVI	10/VI	1933	275
CXVII	10/VII	1933	279
CXVIII	28/VII	1933	280
CXIX	8/VIII	1933	283
CXX	21/VIII	1933	284
CXXI	10/IX	1933	284
CXXII	6/X	1933	285
CXXIII	25/X	1933	287
CXXIV	28/X	1933	289
CXXV	15/XI	1933	292
CXXVI	5/XII	1933	293
CXXVII	10/XII	1933	295
CXXVIII	5/I	1934	296
CXXIX	13/III	1934	298
CXXX		(1934)	299
CXXXI	14/VI	1934	306
CXXXII	22/VI	1934	307
CXXXIII	31/VII	1934	308
CXXXIV	19/IX	1934	308
CXXXV	2/XI	1934	309
CXXXVI	22/XI	1934	312
CXXXVII	25/I	1935	312
CXXXVIII	21/II	1935	320
CXXXIX	7/III	1935	325
CXL	14/III	1935	326
CXLI	30/III	1935	331
CXLII	17/V	1935	333
CXLIII	25/V	1935	338

CXLIV	2/VI	1935	338
CXLV	15/VI	1935	339
CXLVI	20/VI	1935	339
CXLVII	25/VI	1935	340
CXLVIII	25/VI	1935	341
CXLIX	3-4/VIII	1935	341
CL	24/IX	1935	346
CLI	10/X	1935	350
CLII	26/XI	1935	351
CLIII	20/XII	1935	355
CLIV		(1936)	356
CLV	25/V	1936	357
CLVI	1/VI	1936	359
CLVII	11/VI	1936	360
CLVIII	16/VI	1936	360
CLIX		(1936)	360
CLX		(1936)	362
CLXI	26/VII	1936	363
CLXII	1/VIII	1936	364
CLXIII	12/VIII	1936	365
CLXIV	17/VIII	1936	368
CLXV	20/VIII	1936	368
CLXVI	26/IX	1936	369
CLXVII	5/X	1936	370
CLXVIII	2/XI	1936	374
CLXIX	16/XI	1936	376
CLXX	7/I	1937	377
CLXXI	9/I	1937	379
CLXXII	10/I	1937	380
Приложение: Проект фонологической анкеты для языков Европы			381
CLXXIII	16/I	1937	383
CLXXIV	5/II	1937	385
CLXXV	25/III	1937	387
CLXXVI	12/IV	1937	388
CLXXVII	19/IV	1937	390
CLXXVIII	29/IV	1937	391
CLXXIX	4/V	1937	393
CLXXX	20/V	1937	393
CLXXXI	26/V	1937	394
CLXXXII	5/VI	1937	395
CLXXXIII	2/VIII	1937	396
CLXXXIV	25/VIII	1937	398

CLXXXV	20/IX	1937	399
CLXXXVI	20/X	1937	401
CLXXXVII	26/X	1937	406
CLXXXVIII	8/XI	1937	407
CLXXXIX	22/XI	1937	408
CXC	3/XII	1937	409
CXCI	11/XII	1937	413
CXCII	16/XII	1937	414
Приложение: Японские работы по фонологии за 1935—1937 гг.			415
CXCIII	19/I	1938	416
Приложение: Заметки для Фонологического Бюллетеня			417
CXCIV	9/II	1938	422
CXCV		(1938)	423
CXCVI	9/V	1938	425

Письма Н. С. Трубецкого Н. Н. Дурново 427-442			
DI	24/II	1925	427
DII	8/III	1925	428
DIII	1/IV	1925	430
DIV	20/X	1925	435
DV	20/II	1928	440

Приложения

I-Ig	Письма Трубецкого		443-466
I	В. Г. Богоразу	(1907)	443
Ia	И. Шишманову	10/V 1920	445
Ib	А. Мейе		
	1	22/VII 1922	449
	2	8/VIII 1922	450
	3	14/VIII 1922	451
	4	10/XII 1922	452
Ic	И. Ю. Микколе		
	1	21/V 1924	453
	2	19/XII 1932	454
	3	19/XII 1933	455
Id	И. Форххаммеру	5/III 1932	457
Ie	Н. ван Вейку	(1934)	463
If	Г-же Мейе	23/IX 1936	465
Ig	Ели Фишер-Йергенсен	30/V 1938	466

II	Н. С. Трубецкой. О расизме (1935)	467
III	Н. С. Трубецкой. Литературное развитие Льва Толстого (1935) .	475
IV	Н. Н. Дурново. К характеристике фонологических соответствий (1930—1931)	480
V	Представление В. Я. Поржезинского историко- филологическому факультету Московского университета для приготовления Н. С. Трубецкого к профессорскому званию.	486
VI	Курсы и семинары Н. С. Трубецкого в Венском университете . .	488

Указатели

Условные обозначения	491
От переводчика	491
Указатель имен	492
Указатель языков	505

От редактора перевода

Комментарии Р. О. Якобсона в подлиннике даны по-английски. В настоящем издании они полностью переведены на русский язык, по возможности с сохранением особенностей оформления и стилистики оригинала. В ряде случаев, однако, библиографические ссылки приведены в большее соответствие с современными нормами. Кроме того, добавлены примечания переводчика (в тексте они всюду специально отмечены и выделены курсивом), в которых поясняются некоторые фактические реалии, могущие быть неясными современному читателю, и содержатся библиографические уточнения — главным образом, это касается новых изданий работ Н. С. Трубецкого в русских переводах, не существовавших в момент выхода первого издания книги.

В. Н. Топоров

Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек
(к столетию со дня рождения)*

«История русской культуры, вся она в перебоях, в приступах, в отречениях или увлечениях, в разочарованиях, изменах, разрывах, — писал Г. Флоровский. — Всего меньше в ней непосредственной цельности. Русская историческая ткань так странно спутана, и вся точно перемята и оборвана. <...> Издавна русская душа живет и пребывает во многих веках и возрастах сразу. Не потому, что торжествует или возвышается над временем. Напротив, расплывается во временах. Несоизмеримые и разновременные душевные формации как-то совмещаются и срастаются между собой. Но сросток не есть синтез. Именно синтез и не удавался... Эта сложность души — от слабости, от чрезмерной впечатлительности... В русской душе есть опасная склонность, есть предательская способность к тем культурно-психологическим превращениям или перевоплощениям, о которых говорил Достоевский в своей Пушкинской речи. <...> Этот дар “всемирной отзывчивости”, во всяком случае, роковой и двусмысленный дар. Повышенная чуткость и отзывчивость очень затрудняет творческое собирание души. В этих странствиях по временам и культурам всегда угрожает опасность не найти самого себя. Душа теряется, сама себя теряет, в этих переливах исторических впечатлений и переживаний. Точно не поспевает сама к себе возвращаться, слишком многое привлекает ее и развлекает, удерживает в инобытии. И создаются в душе какие-то кочевые привычки, — привычки жить на развалинах или в походных шатрах. Русская душа плохо помнит родство. И всего настойчивее в отрицаниях и отречениях... Принято говорить о русской мечтательности, о женской податливости русской души... В этом есть известная правда... <...> Только любовь есть подлинная сила синтеза и единства. И вот, русская душа не была тверда и предана в этой своей последней любви. Слишком часто заболела она мистическим непостоянством. Слишком привыкли русские люди праздно томиться на роковых перекрестках, у перепутных крестов. “Ни Зверя скиптр нести не смея, ни иго легкое Христа”... И есть в русской душе даже какая-то особенная страсть и притяжение к таким перепутиям и перекресткам. Нет решимости сделать выбор. Нет воли принять ответственность. Есть что-то артистическое в русской душе, слишком много игры. Душа растягивается, тянется и томится среди очарования. Но очарование не есть любовь. <...> Укрепляет только жертвенная и волевая любовь, не накат страсти, не медиумизм тайного сродства. Но не было в русской душе именно этой жертвенности, не было этого самоотречения перед истиной, этого последнего смирения в любви. Душа двоится и змеится в своих привязанностях. И позже всего просыпается в русской душе логическая совесть, — искренность и ответственность в познании. <...> В русском переживании истории всегда преувеличивается значение безличных, даже бессознательных, каких-то стихийных сил, “органических процессов”, “власть земли”, точно история совершается скорее в страдательном залоге, более случается, чем творит

* Публикуется по: Н. С. Трубецкой и современная филология. М., 1993, 31—118.

ся. ...Выпадает категория ответственности. И это при всей исторической чувствительности, восприимчивости, наблюдательности... В истории русской мысли с особенной резкостью сказывается эта безответственность народного духа. И в ней завязка русской трагедии культуры... Это христианская трагедия, не эллинская античная. Трагедия вольного греха, трагедия ослепшей свободы, — не трагедия слепого рока или первобытной тьмы. Это трагедия двоящейся любви, трагедия мистической неверности и непостоянства. Это трагедия духовного рабства и одержимости... Поэтому и вырваться из этого преисподнего смерча страстей можно только в покаянном бдении, в возвращении, собирании и трезвении души...» («Пути русского богословия». 2-е изд. Р., 1981. С. 500—502).

Жизнь и жизненное дело Н. С. Трубецкого, то, как выживалась эта жизнь, и делалось это дело, видятся на фоне нарисованной выше и в целом весьма справедливой картины как яркая контрастная вспышка, как преодолевающее энтропию собирание «русской исторической ткани», как становление нового человека, достойного его жизненного дела. А это жизненное дело и состояло в собирании и трезвении души, в выборе пути через «внутреннюю пустыню» возвращающегося духа, при свете пробудившейся «логической совести» и становящейся «категории ответственности». Жизнь Н. С. Трубецкого во всей ее цельности, подлинной синтетичности, слитности желания и долга и стала главным, первичным и самым наглядным подтверждением его жизненного дела. Все остальное, каким бы важным оно ни было, производно, как результат развертывания исходных импульсов и энергий. И если мы прежде всего замечаем «производное», то это следствие аберрации нашего ложно ориентируемого взгляда и отвычки от углубленного и свободного от разного рода «автоматизмов» размышления.

Приведенные выше слова о трагедии русской культуры и о завязке ее в глубочайше укорененных свойствах русской души так суровы и горьки, что могут, особенно при первой встрече с ними, вызвать желание оспорить их и оспорить прежде, нежели осознать предмет спора, но они, эти слова, ответственные, честны, и трудно не понять и уж во всяком случае не почувствовать, что в них — п р а в д а, отвернуться от которой — грех. Но главное даже не в этом. Что логическая совесть, ответственность в познании, активное строительство истории, собирание и трезвение души, аскеза полезны и необходимы, — не вызывает сколько-нибудь серьезных сомнений. Но что делать русскому человеку с тем, что ему дорого, или с тем, что так приросло к нему и стало его второй натурой, основанием для того, чтобы считать его русским — с жизнью во многих веках и возрастах сразу, повышенной впечатлительностью, чуткостью, «всемирной отзывчивостью», устремленностью к другому? Ведь это не только соблазн и грех русской жизни, культуры, истории. За этими свойствами «русской души», — конечно, далеко не всякой, а той лучшей или во всяком случае наиболее открытой добру, с которой связывала свои надежды великая русская литература, и не просто «реально» существующей русской души, но скорее взыскуемой, чаемой, поставляемой себе как цель, — все-таки угадывается нечто сокровенное и дорогое, зачеркнуть и уничтожить которое «просто так» было бы еще более страшным грехом, ка-

ковой и творился в России большую часть нашего века. Ведь все эти «отрицательные» или, по крайней мере, затрудняющие творческое собирание души свойства могут быть естественно-разумно увидены и в менее опасном свете — хотя бы как «положительно-отрицательные», т. е. такие, которые нуждаются не просто в их отбрасывании или зачеркивании (да и выполнима ли такая задача вообще?), но в некоем «дифференцированно-амелиорирующем» взращивании, в формировании того ядра, из которого может и при соответствующих условиях должна возникнуть «новая», лучшая прежней, но все-таки с нею связанная и ее продолжающая душа и из нее вырастающее новое сознание, новая ответственность, новая нравственность, новый тип исторического бытия, встретившись с которым, все люди доброй воли сказали бы — «Да будет!». Более того, эти «положительно-отрицательные» (по сути же своей, нейтральные) свойства, чье «склонение» в дурную сторону не столько характеристика их самих или неизбежно присутствующего в них дефекта, сколько следствие того «исторического» (в широком смысле слова) контекста, в котором они оказались, выглядят, пожалуй, как некие специализированные варианты какого-то более фундаментального свойства, порождающего и эти частные черты.

Широта - открытость могла бы претендовать на эту определяющую роль, и такой выбор получает свое объяснение при обращении к характерному, извне нередко воспринимаемому как некое патологическое уклонение от нормы, «русскому» варианту, предполагающему такую гипертрофированную широту-открытость, что центр «своей» жизни как бы теряет актуальность и притягательность, внимание переносится на другие, «чужие» центры, к тому же нередко ложно истолковываемые, и формируется та «эксцентрическая» установка (именно в этом смысле любил употреблять слово «эксцентризизм» Трубецкой), которая вызывает нередкое равнодушие и охлаждение к «своему» делу, уводит в сторону от выполнения его и манит человека соблазнами «чужого», дальнего, часто вообще иллюзорного. Это свойство широты-открытости не просто эмпирическая данность некоего культурного типа, но нечто основоположное или этому основоположному соответствующее: ландшафт души и структура пространства соотносены друг с другом, и в чем-то важном и глубинном изоморфны между собой. Если говорить об опасных следствиях, то широта души как бы снимает необходимость ответственного выбора, его можно отложить или снять, пытаюсь примирить непримиримое или полагаясь на «авось». Широта пространства суфлирует душе именно в этом направлении: всегда есть место, есть соответствующее этому «широкому» месту время, никогда не поздно сделать выбор. Время как бы освобождается от ответственности — от принятия решения действовать, сделанного в «узком» месте и в «узкое» время — в то единственное, когда оно необходимо: в нужном месте и в нужное время. Правильный выбор таких условий воспитывает душу, и сознание долга, ответственности и умение жить в соответствии с ними, т. е. считать их *необходимыми*, — из лучших плодов такого воспитания души, без которого жизнь в «истории» трудна, бедна, ущербна. Нет сомнения, что такая широта-открытость без соответствующего воспитания души порождает экстенсивные тенденции, пассивность, нео-

бязательность, снижение профессионального уровня «умений», психологию ожидания, соблазны ума и чувства, ведущие к совмещению в душе слишком разного — и идеала Мадонны, и содомского идеала, о чем и были сказаны знаменитые слова Мити Карамазова — «Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил», и суждение это необходимо именно из-за силы соблазнов «отрицательного» («В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ли ты эту тайну иль нет?»). Своеволие мысли, ослабление ответственности, нечувствие к тем ситуациям, когда судьба призывает к выбору, к выполнению долга, или даже сознательное избегание подобных ситуаций — главные соблазны «широкой» души, и в той или иной степени эта опасность присутствовала в русской истории и осознавалась лучшими людьми в разных слоях русского общества.

Н. С. Трубецкой в этом контексте привлекает к себе внимание, между прочим, и тем, что он оказался одним из немногих, кто, не поступившись шириной духа, мысли, интересов, нашел путь преодоления названных выше соблазнов и из самых разных элементов жизненной эмпирии — «своих» и «чужих», близких и далеких — сумел создать столь организованную «конструкцию», в которой все «разное» оказалось на потребу единого. Эта «конструкция» — определяющая для Трубецкого как человека, как мыслителя и как ученого, и в этом отношении он являет собой удивительный пример подлинной цельности и единства. Под этим углом зрения вся жизнь и деятельность Трубецкого своего рода иероглиф, высокий смысл которого в главном понятен, хотя полная оценка его все-таки невозможна без определения того, зная о чем предстает этот иероглиф. Этим как бы вовне лежащим «обозначаемым» была русская жизнь предреволюционной поры, взятая в высшем цветении ее творческого гения — в литературе и искусстве, в философской и религиозной мысли, в науке — том цветении, равного которому, видимо, не было в русской истории. Русская культура, как бы предчувствуя предстоящие ей страшные испытания, спешила раскрыть всю свою глубину и многообразие, засвидетельствовать своими достижениями свой уровень и хотя бы намекнуть на свои возможности, которые должны были стать реальностью в 20—30-е годы и которые ею не стали, если не говорить о редких исключениях. В предчувствии своего губительного пути русская культура начала века стала средоточием стихии провиденциального, пророческого, напутственного, и сейчас, спустя многие десятилетия, знаки грядущей катастрофы все отчетливее проступают на лице русской культуры того времени, порою сливаясь в тот «текст беды», который мы, живущие в конце века, хорошо знаем и который русская культура начала века в лице лучших ее представителей предощущала, тревожно предупреждая о его сложении. Предупреждения или не были услышаны или ими не успели воспользоваться, но заветы остались, и наступающее новое время все чаще и глубже будет возвращаться к ним.

Кто же были эти творцы высшего цветения русской культуры, много ли их было и в чем состоял смысл их творческого подвига?

Нас таких в России, может быть, около тысячи человек; действительно, может быть не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать идее. Мы, носители идеи, мой милый!.., — говорит Версиров Арка-

дию в «Подростке». — У нас созданся веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире — тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек <...>, но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало <...> — Я эмигрировал и мне ничего было не жаль назади. Все, что было в силах моих, я отслужил тогда в России, пока в ней был; выехав, я тоже продолжал ей служить, но лишь расширил идею. Но служа так, я служил ей гораздо больше, чем если бы я был всего только русским, подобно тому, как француз был тогда всего только французом, а немец — немцем <...> Заметь себе, друг мой, странность: всякий француз может служить не только своей Франции, но даже и человечеству, единственно под тем условием, что останется наиболее французом <...> Один лишь русский <...> получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех <...> Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек, и, тем самым, наиболее русский, тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль. <...> Я тогда эмигрировал, но разве я покинул Россию? Нет, я продолжал ей служить. Пусть бы я и ничего не сделал в Европе, пусть я ехал только скитаться <...>, но довольно и того, что я ехал с моею мыслью и с моим сознанием. Я повез туда мою русскую тоску <...> Русскому Европа также драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их — мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства <...> Одна Россия живет не для себя, а для мысли, и согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы! А им? О, им суждены страшные муки прежде чем достигнуть царствия Божия.

В этом взволнованном монологе, совмещающем самораскрытие с формулировкой-раскрытием «высшей русской идеи», в этом эйфорическом прорыве к сердцу как бы заново сейчас обретаемого сына, в связи с рассматриваемой здесь темой важны не горячность, чадность и неизбежно связанные с ними перехлесты чувства, «возмущающего», хотя бы отчасти, главную мысль, и не буквальность формы выражения ее, но именно сама эта мысль, представленная, несмотря на все это, и очень ясно и очень выпукло. — Есть высшая культурная идея, и носитель этой понимаемой как главное богатство идеи — тот высший культурный тип, который веками складывался в России,

та «тысяча», о которой говорит Версильов. Этот тип — русский, но он шире, больше и глубже «русского» и России, потому что он готов к отречению от «своего» во имя другого, «всемирного», во имя истины. Принадлежать к этой «тысяче» и считать себя русским можно только в том случае, если стать европейцем (и даже «наиболее» европейцем), потому что максимум «русского» совпадает с максимумом «европейского». Эта высшая культурная идея — в преодолении национального эгоизма, в аскетическом, жертвенном отказе от преимуществ, в способности чувствовать чужую боль, сострадать ей, отзываться на нее, где бы она ни была («всемирное боление за всех»), в желании и умении понять «другого» (в идеале — всех) — будь то петролейщики, поджигатели Тюильри, или их «отомстители» — и, следовательно, также и самого себя (проблема самопознания), наконец, в сознании конца старого мира и предощущении грядущих катастроф.

Вне этого контекста и следствий, из него вытекающих, трудно понять и смысл расцвета русской культуры начала века, его размах и формы, его провиденциально-телеологическую доминанту. И многим позже *de profundis* голос поэта скажет об этом пороговом времени —

Наше было не кончено дело,
 Наши были часы сочтены,
 До желанного водораздела,
 До вершины великой весны,
 До неистового цветенья
 Оставалось лишь раз вздохнуть...

И все-таки время успело явить свое главное, приоткрыв новые духовные горизонты. Вскоре они исчезли во тьме ночи, но это явленное стало тем пламенем, отблески которого не могла объять эта тьма. Именно они будили память, вселяли надежду, поддерживали и укрепляли веру. Будущее, которое отбрасывало свою тень на то настоящее, окрашивая его в цвета тревоги, неопределенности, апокалиптичности, оказалось и той, подобной Софии, «божественной художницей», которая раскрыла логосные смыслы того настоящего: то, что ранее казалось разрозненным, случайным, не имеющим или не обозначившим цели, в свете будущего явилось как цельная картина, в которой все связано и целевой вектор которой обозначен недвусмысленно. Именно из этого их «прошлого» будущего, обживаемого нами как наше настоящее, познается необходимая связь этого расцвета русской культуры и судьбы России или, в более узком и личном плане, жизни Н. С. Трубецкого и его дела и смысла «русской идеи», историософского предназначения, как скажет бы он сам, «русского элемента» в мировой культуре.

Николай Сергеевич Трубецкой принадлежал к тому поколению, чья жизнь была расколота надвое революцией (а задним числом и мировой войной). В этой первой короткой части жизни лучшие люди этого поколения, чьи имена навсегда останутся в книге русской культуры, успели заявить о своих великих возможностях, как правило, очень рано. Значение этого поколения именно в том, что оно (за немногим исключением) было последним, которое успе-

ло сказать свое свободное слово. О творческих потенциях того поколения можно судить хотя бы по тому, что на рубеж 80—90-х годов приходится рождение Ахматовой и Нижинского (1889), Пастернака и Трубецкого (1890), Мандельштама, Михаила Чехова и Прокофьева (1891), Цветаевой (1892) и многих других творцов русского духовного возрождения начала XX в. В этом списке имена писателей и деятелей искусства резко преобладают над именами ученых, и такое соотношение далеко не случайно: дело не только в том, что ученые, как правило, становятся известными в более продвинутом возрасте (поэтому остается только гадать, скольким выдающимся сверстникам перечисленных выше деятелей литературы и искусства был перекрыт путь в науку), но и самим характером культуры начала века, требовавшим богатства художественных способностей, интуиции, иррациональных способов постижения мира. Оказавшись «на том берегу», Трубецкой стал великим ученым (на первом Международном Конгрессе языковедов Мейе, указывая на Трубецкого, сказал: «Он — сильнейшая голова современного языкознания». «Сильная голова», — подтвердил кто-то. — «Сильнейшая», — настойчиво повторил Мейе). Останься Трубецкой в России, он едва ли сохранил бы свою жизнь (характерна судьба высоко ценимого Трубецким лингвиста Е. Д. Поливанова, оставшегося в России) и уж во всяком случае путь в науку был бы для него закрыт. К счастью, этого не произошло, но, к несчастью, «компенсация» была найдена в том, что для русского читателя путь к Трубецкому практически был перекрыт, и в относительно полном объеме Трубецкой возвращается к нам только сейчас, полвека спустя после его смерти (правда, в 1960 г. через двадцать с лишним лет после появления «Grundzüge der Phonologie» вышел русский перевод этой весьма специальной и рассчитанной только на лингвистов книги). Именно поэтому нелишне напомнить вкратце о жизненном пути Н. С. Трубецкого, опираясь, в частности, на его автобиографические заметки в передаче их Р. О. Якобсоном.

Николай Сергеевич Трубецкой родился 16 апреля 1890 г. в Москве. Его отец князь Сергей Николаевич принадлежал к одной из самых родовитых и просвещенных семей России. Обстановка в семье была исключительно благоприятна для раннего и всестороннего развития. О ней можно судить по описаниям брата Сергея Николаевича — известного философа Евгения Николаевича Трубецкого (см. «Воспоминания». София, 1921 и «Из прошлого». Вена, 1925). Надо думать, что такой же, но с изменениями, связанными с условиями московской жизни, была и домашняя обстановка, окружавшая в детстве Николая Сергеевича. Отец его, князь Сергей Николаевич, был знаменитым религиозным философом, занимавшимся широким кругом проблем, профессором Московского университета, а с бурной осени 1905 г. и его ректором (редкий случай избрания в таком молодом возрасте, но ректорство продолжалось только 27 дней и было прервано смертью). Сергей Николаевич представлял собой и замечательный тип русского общественного деятеля либерально-гуманистического направления (за это он неоднократно становился объектом нападок Ленина). В 1905 г. С. Н. Трубецкой становится уже и политической фигурой: он возглавляет депутацию общественных деятелей, которая была принята Николаем II. Похороны С. Н. Трубецкого стали